

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

На шихане

Из записной книжки охотника

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0013
III.....	.0023
IV.....	.0037

**На шихане
Из записной книжки
охотника**

— Там кто-то есть... — проговорил Савка, нюхая воздух, как собака. — На шихане [1] артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась — умное животное чувствовало близость других собак.

— Карла с объездчиками... шестером, на вершних, — продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забирающуюся кверху между двумя россыпями. — Чувешь, барин?

— Нет, ничего не чую... — должен был я сознаться.

— А я давно чую, и Кукша тоже... — проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистоны», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупкой, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

— Далеко еще до шихана? — спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком.

— Да версты две, поди, будет... Засветло еще приедем.

Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях — не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начи-

наете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы наконец подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

— Это от олешков... — флегматически объяснял Савка. — Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и

в шерсти — вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

— Говорю: олешки... Чего еще тебе? — сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковра; в засуху лишай хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мел-

кий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувший со стороны

недалекого шихана.

— Теперь по самому по лбу идем... — объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. — Широченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В несколь-

ких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов; и одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся замок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав — земля «дала пар», как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклнсь высоким столбом комары, где-то впросонье пиликала какая-то лесная «пичуж-

ка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучаямышь и быстро исчезала в накоплавшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

— Вёдро будет... ишь как туман-то заходил, — проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. — Кукша, цыц, треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

На шихане, вернее — под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукушу, которая присела задом к земле и по-волчьи защелкала зубами.

— Ну вы, дуrolомы, отойдите! — кричал Савка на лаявших господских собак. — В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой, сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесобъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому бала-

ганы оберегаются как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

— Мир на привале... — здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

— Мир дорогой, — отозвался один из объездчиков. — Да это ты, Савка?

— Выходит, что я, Иван Васильич... Можно нам заночевать?

— На-вот, всем места хватит.

— А я вот бари́на по лесу водил, приста-
ли... Кукша, цыц, стерва!..

— Пожалуйт, пожалуйт, каспада... — заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра. — Веста, тубо... назать!.. А, это ти, Сафк...

— Я, Карла Иваныч... Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

— Ошэнь рат... садитесь на месту... Кого

убиль?

— Да так, пустяки, Карла Иваныч, — скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок. — Двух поляшей залобовали да польнюшку [2].

— Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава-богу», потому что называл Ивана Богослова — Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец — вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шерт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт», — говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарбарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему со-

держимому: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навывкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная борода и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с бору да с сосенки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

— А ви сюда... ковер... — обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик. — Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик, с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачи, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

— Хорош собак? — спрашивал Слава-богу,

облизывая свои пальцы. — Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

— Эк этот Карла трескает... страсть! — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. — Чисто как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем.

— Хороша у вас сучка-то... — проговорил

Савка, отставляя горшок от огня.

— Ничего... — протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку. — На дупелей стойку держит, на копалят [3] тоже...

— Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

— Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото: хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

— Знаю... Куликов стрелять? Известно, господская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пах-

ло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге — от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба, которое сейчас после солнечного заката спльно потемнело и только мало-помалу «отошло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим светом. В одном месте черкнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

— Это ангел божий пал на земь, — объяснял он. — По душу господь его послал, по праведную.

Лежа в балагане, на широких полатах, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся

площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята, некошная! — ругался он за свой испуг. — Эк ее взяло, проклятушую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток.

— Ну, что у вас на Кособродском? — спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок.

— Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высоченная, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только котлы еще поденщиной перебиваются.

— А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи! — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву.

— Не забыл разве еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?.. Экой у тебя ха-

рахтер, Савка... чистый ты дьявол, ежели
разобрать... а?

— Хуже дьявола, потому как...

Савка не закончил речи и начал крутить
новый крючок.

Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеной. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о ночлеге.

— Пойдем, барин, ко мне, заночуем... — предложил Савка. — Я в Студеной живу...

Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

— Да ты чего, барин, сумлеваешься? — заговорил Савка, угадывая мою мысль. — Я в своем дому хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в крошечной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним

ощупью. Наконец показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора; ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было; нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться.

— И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? — ругалась достойная половина Савки. — В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки действительно места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полотах — везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

— Нам бы, Анка, насчет самоварчика? — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

— Самоварчик?! да где я тебе его возьму? — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками. — Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у

меня и чугулки-то нет...

— Да ты что больно зудишь? — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем доме. — Я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

— Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!.. — неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту. — Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись

колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем году последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежду до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности.

— Она, Анка-то, славная у меня... — докладывал Савка. — И меня любит, а только на руку больно скоро, когда расстервенится. Конечно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой,

который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей усталости; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супружества Анка принесла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

— А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! — кричала Анка на орavu ребятшек с утра до ночи. — Который помер — и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что, хоть околеет мы тут, ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напро-

тив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» — объяснила мне однажды Анка про мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Шил в Кособродском заводе один мужик, по прозванию Крохаль. Это был настоящий богатырь — высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял зверованьем и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к

начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохаля было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались, как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы, у богатыря Крохаля был сын, лдящий мужичонко Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лдящем Крохаленке от младых погтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких попользований на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики — все узнали в Савке особенного человека, которого не тронь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все — трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как гово-

рят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

— Уж Савка скажет — как завяжет! — дивилось мужичье. — Мудреный, пес...

— Не больно завидно мудренее вас-то быть, — огрызается Савка. — Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

— А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

— И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричной; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней — трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это

был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клевретов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, навел гроз на целые селения и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся

всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

— Уж знаю, что взломят меня, а иду домой, — рассказывал Савка. — Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя — еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать — так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому боятся одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

— Как же ты уходил?

— Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили ме-

ня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь — один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас таких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

— Ну, а Анка что?

— Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но доста-

точно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля — он просто перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений. И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кого не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика собственно охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань — куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старый Крохаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованием, но его губила вод-

ка — он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

— Уж супротив Савки не сделать, — говорили про него другие мужики, — его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова такие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

— Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? — несколько раз спрашивал я Савку. — Ведь ты мог бы жить не хуже других?

— От зверства своего и пью... — коротко объяснял Савка. — Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, со-

ставлявший вполне органическое целое с своей Анкой.

IV

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослеп-

ляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженьях пути.

— Важное утречко издалось... — говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок. — Пусть уж Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него длинные.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

— Пошла, Сафк? — спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

— А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинока набил целый десяток шапкой, — рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развальной походкой.

— Врать... — скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

— Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак в успленьев пост, ну, им росой-то крылушки и заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх... Взлететь-то и не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчики; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски.

Лес в логах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светло-зелеными, — точно громадные заплата. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястреба.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

— Ох, барин!.. — вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. — Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала в траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

— Бей, бей... — хрипел Савка, закрывая глаза. — Лучше меня бей.

— А... канайль... швейн!.. — ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля. — Ты меня хотел убивайт... душил за горлом...

— И задушу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

— Отцепись ты, дьявол! — кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки. — Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пуцай...

— Бей меня, а то пса губить... живодееры, мошенники! — ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве.

— А шерт минэ взял... а шерт тебэ взял... Зачево минэ душиль?.. — спрашивал Слава-богу, повертываясь. — Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

— У! нехристь... — шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась

убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щеко-танье польнюшки-матки, сторожившей на ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

— Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то, — как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож. — Ну, счастлив Карла, а

то я бы ему выпустил все кишки.

— Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

— Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

— Какой зверь, какой человек?

— А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства — пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А

уж касательно лошади али пса — так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы успели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в ширф и бросили, а сверху елочками закидали... Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь да к сосенке на цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду, — и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо

на двор к хозяину. Как увидали ее — все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конечно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!» Признаться признались, а куда убитого купца дели — не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли... Так народ что тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадью! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела...

— Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

— Ах, какой ты непонятный, барии... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, пото-

му она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в доме такой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку — и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцем, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки, тогда и жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что хошь со мной делайте. Обратно вам полштоф ваш выставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельеф-

но обрисовывались основания его оригинального мирозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости»; его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не пугали самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

— Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? — допрашивал меня Савка. — К этим угодным человекам всякой лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что

по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житьишко да про других-то, господи милостивый, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом гляжу, вся рожа-то у меня мокрая: слезой проняло.

1884

Примечания

Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Поляш, или косач — тетерев-березовик, польнюшка — тетерька. Залобовать — убить. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах копалухой, а глухарят — копалятами. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]